

Януш Вишневский
Одиночество в Сети

Я Н У Ш Л Е О Н
В И Ш Н Е В С К И Й

О Д И Н О Ч Е С Т В О
В С Е Т И

В России издано более 400 000 экземпляров

Текст предоставлен правообладателем <https://litres.ru/133009>
 «Одиночество в Сети / Януш Леон Вишневский»: АСТ; Москва; 2017
 ISBN 978-5-17-102070-5

Аннотация

<p>Она живет в Польше, он – в Германии. Однажды они случайно встретятся на просторах Сети. И начнется долгая онлайн-переписка, которая перерастет в их страстное влечение друг к другу. «Из всего, что вечно, самый краткий срок у любви». Но была ли это любовь?..</p> <p>Главный польский бестселлер начала XXI века, самый знаменитый и самый неоднозначный роман Януша Вишневского «Одиночество в Сети» – это история запретной и оттого такой желанной любви в письмах и, конечно, о глубоком одиночестве по ту сторону компьютерного экрана.</p>

Януш Вишневский Одиночество в Сети

Janusz Leon Wiśniewski
 SAMOTNOSC W SIECI

© Copyright by Janusz Leon Wiśniewski
 © Wydawnictwo Literackie, ul. Długa 1, Cracow, Poland
 © Цывьян Л.М., наследники, перевод, 2017
 © ООО «Издательство АСТ», издание на русском языке, 2017

* * *

*Из всего, что вечно,
 самый краткий срок у любви...*

@1

Девятью месяцами ранее...

С одиннадцатой платформы при четвертом пути железнодорожной станции Берлин-Лихтенберг бросается под поезд больше всего самоубийц. Так официально утверждают неизменно скрупулезные немецкие статистики на основании обследования всех вокзалов Берлина. Это, кстати сказать, заметно, если ты сидишь на скамейке на одиннадцатой платформе при четвертом пути. Рельсы там блестят куда сильнее, чем около других платформ. От часто повторяющегося аварийного торможения рельсы очень здорово шлифуются. Кроме того, шпалы, как правило темно-серые и грязноватые, в некоторых местах вдоль одиннадцатой платформы выглядят куда светлей, чем обычно, а кое-где они почти белые. Это потому что там использовались сильные детергенты, чтобы смыть кровь, что осталась после разорванных на части под колесами локомотива и вагонов тел самоубийц.

Лихтенберг – одна из самых последних железнодорожных станций Берлина и к тому же самая запущенная. У человека, лишаящего себя жизни на станции Берлин-Лихтенберг, впечатление, будто он уходит из серого, грязного, провонявшего мочой мира, где на стенах облупилась штукатурка, где полно торопящихся унылых, а то и отчаявшихся людей. Покидать навсегда такой мир куда легче.

На одиннадцатую платформу поднимаются по каменным ступеням через последний выход туннеля между кассовым залом и трансформаторной. Четвертый путь – последний на этой станции. И если человек в кассовом зале станции Берлин-Лихтенберг решает покончить с собой, то, отправляясь на одиннадцатую платформу четвертого пути, он пусть ненадолго, но продлевает себе жизнь. Поэтому самоубийцы почти всегда выбирают четвертый путь, одиннадцатую платформу.

На платформе при четвертом пути есть две деревянные скамейки, все в граффити и изрезанные ножами; к бетонным плитам платформы они крепятся огромными болтами. На скамейке ближе к выходу из туннеля сидел исхудалый мужчина, от которого воняло потом, мочой, давно не мытым телом. Уже много лет он жил на улице. Он дрожал – от холода и страха. Сидел он, неестественно развернув ступни, руки держал в карманах рваной и усеянной пятнами куртки из синтетики, которая в нескольких местах была заклеена желтым скотчем с синей надписью «Just do it». Мужчина курил. Рядом с ним на скамейке стояли несколько банок из-под пива и пустая водочная бутылка. А возле скамейки в фиолетовом пластиковом мешке с рекламой сети магазинов «Альди», желтая краска которой давно уже стерлась, находилось все его имущество. Прожженный в нескольких местах спальный мешок, пяток шприцев, банка для табака, пачки папиросной бумаги, альбом фотографий с похорон сына, консервный нож, коробка спичек, две пачки метадона, книжка Ремарка в пятнах кофе и крови, старый кожаный бумажник с пожелтевшими порванными и вновь склеенными фотографиями молодой женщины, дипломом об окончании института и свидетельство о том, что податель сего не привлекался к уголовной ответственности. В тот вечер к одной из фотографий молодой женщины мужчина скрепкой присоединил письмо и купюру в сто марок.

Сейчас он ждал поезда, идущего с вокзала Берлин-ЦОО до Ангермюнде. В ноль двенадцать. Скорый поезд с обязательным бронированием мест и вагоном «Митропы» среди вагонов первого класса. Он никогда не останавливается на станции Лихтенберг. Стремительно проносится по четвертому пути и исчезает в темноте. В поезде более двадцати вагонов. А летом так еще больше. Мужчина уже давно знал об этом. Он не первый раз приходит к этому поезду.

Мужчина боялся. Однако сегодняшний страх был совершенно другим. Универсальный, повсеместно известный, названный и основательнейшим образом исследованный. И мужчина ясно знал, чего он боится. Ведь хуже всего страх перед тем, что невозможно назвать. От страха без названия не помогает даже шприц.

Сегодня мужчина пришел на эту станцию в последний раз. Потом он уже никогда не будет одинок. Никогда. Нет ничего хуже одиночества. Дожидаясь поезда, мужчина был спокоен, он примирился с собой. Он испытывал чуть ли не радость.

На второй скамейке – за киоском с газетами и напитками – сидел еще один мужчина. Трудно сказать, какого он был возраста. Лет тридцать семь – сорок. Загорелый, пахнущий дорогим одеколоном, в черном пиджаке из хорошей шерсти, в светлых брюках, в расстегнутой на две пуговицы оливкового цвета рубашке с зеленым галстуком. Рядом со скамейкой он поставил металлический чемодан с наклейками авиалиний. Включил компьютер, который вынул из кожаной сумки, но тут же снял с колен и положил рядом с собой на скамейку. Экран компьютера мерцал в темноте. Минутная стрелка часов над платформой перепрыгнула за двенадцать. Начиналось воскресенье 30 апреля. Мужчина спрятал лицо в ладони. Закрыв глаза. Он плакал.

Мужчина со скамейки близ выхода из туннеля встал. Залез в пластиковый мешок. Удостоверился, что письмо и купюра по-прежнему в бумажнике, взял черную банку пива и двинулся к концу платформы, туда, где стоит семафор. Он давно уже присмотрел это место. Миновав киоск с напитками, он увидел второго мужчину. Нет, он не предполагал в полночь встретить кого-нибудь на одиннадцатой платформе. Всегда он был тут один. Его охватила тревога, отличная от страха. Присутствие второго человека нарушало весь план. Он ни с кем не хотел встречаться по дороге к концу платформы. К концу платформы... Это будет

действительно конец.

И внезапно он почувствовал, что хочет попроситься с этим человеком. Он подошел к скамейке. Отодвинул компьютер и сел рядом.

– Приятель, выпьешь со мной глоток пива? Последний глоток? Выпьешь? – спросил он, тронув этого человека за бедро и протягивая ему банку.

ОН: Минула полночь. Он опустил голову и почувствовал, что не может сдержать слезы. Уже давно он не ощущал себя таким одиноким. Это все из-за дня рождения. В последние годы при бешеном темпе его жизни он редко испытывал чувство одиночества. Одиноким бываешь только тогда, когда на это есть время. А времени у него не было. Он постарался так организовать свою жизнь, чтобы не иметь свободного времени. Проекты в Мюнхене и Штатах, защита диссертации и лекции в Польше, научные конференции, публикации. Нет, в последнее время в его биографии не было перерывов на мысли об одиночестве, на чувствительность и слабость вроде той, что напала на него здесь. Обреченный на бездействие на этом сером безлюдном вокзале, он не мог ничем заняться, чтобы забыть, и одиночество напало на него, как приступ астмы. Его присутствие здесь и этот незапланированный перерыв – всего лишь ошибка. Обыкновенная, банальная, бессмысленная ошибка. Как опечатка. Перед приземлением в Берлине он смотрел в Интернете расписание поездов и не обратил внимания, что со станции Лихтенберг поезда на Варшаву ходят только в будние дни. А всего минуту назад закончилась суббота. Впрочем, ошибка его была вполне объяснима. Происходило это утром после нескольких часов полета из Сиэтла, полета, завершавшего неделю напряженной работы без минуты отдыха.

День рождения в полночь на вокзале Берлин-Лихтенберг. Абсурдней ничего быть не может. Уж не оказался ли он тут с какой-нибудь миссией? Это место могло бы быть декорацией фильма, но обязательно черно-белого, о бессмысленности, серости и мучительности жизни. Он ничуть не сомневался, что Воячек¹ здесь и в такую минуту написал бы свое самое мрачное стихотворение.

День рождения. А как он родился? Как это было? И очень ли ей было больно? Что она думала, когда ей было так больно? Он ни разу не спросил ее. Почему не спросил? Ведь это было так просто: «Мама, а тебе очень было больно, когда ты меня рожала?»

Сейчас он хотел бы это знать, но тогда, когда она была жива, ему ни разу не пришлось в голову спросить.

А сейчас ее нет. И других тоже. Все те, кто для него был дороже всего, кого он любил, умерли. Родители, Наталья... У него никого нет. Никого, кто был для него необходим. Остались только проекты, конференции, сроки, деньги да порой признание. А кто вообще помнит, что у него сегодня день рождения? Для кого это имеет хоть мало-мальское значение? Кто это заметит? Да существует ли кто-то, кто подумает о нем сегодня? И тут-то подступили слезы, которые он не смог сдержать.

Вдруг он почувствовал, что кто-то его толкает.

– Приятель, выпьешь со мной глоток пива? Последний глоток. Выпьешь? – услышал он хриплый голос.

Он поднял голову. С исхудалого, заросшего, покрытого струпьями лица на него умоляюще смотрели глубоко запавшие, налитые кровью, испуганные глаза. В вытянутой дрожащей руке сидящего рядом обладателя этих глаз была банка пива. И вдруг неожиданный сосед увидел в его глазах слезы.

– Послушай, приятель, я не хотел тебе мешать. Нет, правда, не хотел. Я тоже не люблю, когда кто-нибудь лезет ко мне, когда я плачу. Плакать надо, когда никто не мешает. Только

¹ **Воячек Рафал** (1945–1971) – польский поэт. Его катастрофическая поэзия, в которой он экспрессионистскими средствами выражает трагическое неслияние человека и мира, болезненную завороченность смертью и сексом, а также самоубийство в возрасте 26 лет сделали его культовой фигурой уже для нескольких поколений молодых поляков. (Здесь и далее прим. пер.)

тогда от этого получаешь радость.

Но владелец компьютера не позволил ему уйти, схватив за куртку. Он взял у него банку и сказал:

– Ты мне не мешаешь. Ты даже не представляешь себе, как мне хочется с тобой напиться. Несколько минут назад начался мой день рождения. Не уходи. Меня зовут Якуб.

И неожиданно Якуб сделал то, что в этот момент представлялось ему самым естественным и чему он не мог противиться. Он обнял подсевшего к нему мужчину и прижал к себе. Положил голову на плечо в драной синтетической куртке. Они оба замерли на краткий миг, чувствуя, что между ними совершается нечто важное и высокое. И тут тишину нарушил поезд, с грохотом промчавшийся мимо скамейки, на которой они сидели, приткнувшись друг к другу. Якуб сжался, как испуганный ребенок, прильнул к соседу и что-то произнес, но слова его заглушил стук колес проносившегося поезда. Уже через миг он ощутил стыд. Второй, видимо, тоже ощутил что-то подобное, так как вдруг резко отпрянул, молча встал и пошел в сторону входа в туннель. Возле одной из металлических урн он остановился, достал из пластикового мешка листок бумаги, смял и выбросил. Через минуту он исчез в туннеле.

– С днем рождения, Якуб! – громко произнес сидящий, выпив последний глоток пива из банки, оставленной ушедшим возле компьютера.

То была всего лишь минутная слабость. Приступ сердечной аритмии, который уже прошел. Он полез в сумку за сотовым телефоном. Достал берлинскую газету, купленную утром, нашел номер службы такси. Набрал его. Уложил ноутбук и, волоча за собой чемодан, колесики которого с шумом подскакивали на выбоинах платформы, зашагал к туннелю, ведущему в кассовый зал и к выходу в город.

Как это?.. Как он сказал?.. «Плакать надо, когда никто не мешает. Только тогда от этого получаешь радость».

ОНА: Уже давно ни один мужчина так не старался, чтобы у нее было хорошее настроение, чтобы она чувствовала себя привлекательной, а в бокале у нее были самые лучшие напитки.

– Никто не станет спорить, что у Золушки было исключительно печальное детство. Злые сводные сестры, непосильная работа и жуткая мачеха. Мало того что бедняжке приходилось травиться, извлекая золу из поддувала, так добавок у нее не было даже канала MTV, – говорил, заливаясь смехом, мужчина, сидящий рядом с ней у стойки бара.

Он был моложе ее на несколько лет. Ему явно не больше двадцати пяти. Красивый. Элегантен до совершенства. Давно уже ей не приходилось видеть мужчину, одетого так гармонично. Вот именно, гармонично. Он был изыскан, как его сшитые по мерке костюмы. Все в нем соответствовало друг другу. Запах одеколона подходил к цвету галстука, цвет галстука – к цвету камней в золотых запонках в манжетах безукоризненно голубой рубашки. Золотые запонки в манжетах – кто вообще в наше время еще носит запонки? – размером и оттенком золота соответствовали золотым часам на запястье правой руки. А часы подходили к поре дня. Сейчас, вечером, на свидание с ней в баре гостиницы он надел элегантные прямоугольные часы с изящным кожаным ремешком в цвет костюма. Утром на собрании в берлинской резиденции их фирмы у него на руке был тяжелый, почтенный «Ролекс». И пахло от него тоже иначе. Она это точно знает, потому что намеренно встала со своего места и наклонилась над его головой, чтобы взять бутылку минералки, хотя поднос с точно такими же бутылками стоял и перед ней.

Всю первую половину дня она присматривалась к нему. Его звали Жан, и был он бельгиец, «из абсолютно французской части Бельгии», как он сам подчеркнул. Она не знала, чем французская часть Бельгии так уж отличается от фламандской, но решила, что происходить из французской, очевидно, почетнее.

Как потом выяснилось, Жан не только для нее был самым притягательным элементом этого цирка в Берлине. Их собрали со всей Европы в берлинскую штаб-квартиру их фирмы,

чтобы сказать, что руководству сказать им в общем-то нечего. Уже год она вместе с их бельгийским отделением занималась проектом, который в Польше не мог иметь успеха. Устройства, которые фирма хотела продавать, просто-напросто не подходили для польского рынка. Трудно продавать эскимосам крем для загара. Даже если это крем самого высшего качества.

Она вообще не хотела сюда приезжать и делала все, чтобы переложить эту поездку на кого-нибудь другого из их отдела. Они с мужем давно уже планировали съездить в Карконоше и заглянуть в Прагу. Не удалось. По недвусмысленному указанию из Берлина ехать пришлось ей. Вдобавок поездом, потому что, чтобы поездка эта имела хоть какой-то смысл, ей пришлось провести день в филиале их фирмы в Познани.

По пути из Варшавы в Берлин – она терпеть не могла ездить в поездах – у нее было достаточно времени, чтобы разработать стратегию, которая заставила бы центральное отделение отказаться от этого проекта. Однако Жан, тот самый бельгиец с запонками, соответствующими, надо думать, погоде, убедил всех, что «рынок в Польше сам еще не знает, что нуждается в этих устройствах» и что у него «есть гениально простая идея, как сделать, чтобы польский рынок об этом узнал». После чего на фоне тщательно изготовленных цветных слайдов он целый час излагал свою «гениально простую идею».

Мало того что она все это могла бы рассказать за пятнадцать минут и к тому же на куда лучшем английском, вдобавок на его слайдах ничего – кроме карты Польши – не соответствовало действительности. Но это не произвело ни на кого, за исключением ее, особенного впечатления. Было ясно, что директриса из Берлина приняла решение еще до презентации. Она тоже приняла решение, и тоже до презентации. Но проблема заключалась в том, что это были диаметрально противоположные решения. Но как директриса могла согласиться с ней? Разве такой обаятельный и красивый мужчина, говорящий по-английски с таким очаровательным французским акцентом, мог ошибаться? Директриса смотрела на бельгийца, несущего чушь на фоне цветных фантазий, как на красавца стриптизера, который вот-вот начнет раздеваться. Тяжелый случай менопаузы. Что ж, искушение, по мнению директрисы, видимо, стоило того, чтобы рискнуть деньгами акционеров. Ну а кроме того, всегда ведь можно убедить эскимосов, что во время долгой полярной ночи они тоже загорают. Под космическими лучами. И кремы им будут очень полезны.

После Жана выступала она. Директриса даже не стала дожидаться конца презентации. Вышла, вызванная по телефону секретаршей. Благодаря этому все поняли, что ее слушать нет смысла. Все, как по команде, склонились над клавиатурой своих ноутбуков и занялись Интернетом. В сущности, она могла бы декламировать стихи или рассказывать по-польски анекдоты – никто бы этого не заметил. И лишь бельгиец, когда она закончила свое сообщение, подошел к ней и с обезоруживающей улыбкой произнес:

– Мадам, вы самый очаровательный инженер, какого я знаю. Пусть вы даже не правы, но я все равно слушал все, что вы говорили, затаив дыхание и самым внимательным образом.

Когда же она полезла в сумку, чтобы продемонстрировать ему свои расчеты, он предложил:

– Не могли бы вы убедить меня в своей правоте сегодня вечером в баре нашего отеля? Скажем, в двадцать два часа?

Она согласилась без малейших колебаний. Даже не пыталась затруднять ситуацию наскоро придуманным мелким враньем насчет того, как занята она вечером. Все официальные мероприятия, которые могли происходить по вечерам, уже произошли. Поезд на Варшаву отходил завтра около двенадцати. Ну и потом, ей хотелось хоть раз побыть с бельгийцем в отсутствие их берлинской директрисы.

И сейчас в гостиничном баре она тихо радовалась, что утром не слишком запальчиво протестовала против этого проекта. Бельгиец был поистине очарователен. Похоже было, что он часто бывает в этом отеле. С барменом он разговаривал по-французски – сеть отелей «Меркюр», в которых фирма традиционно бронировала для них номера, принадлежит французам, по каковой причине весь персонал и говорит на французском, – и очень

смахивало на то, что они находятся в приятельских отношениях.

Теперь, когда проект продлили на следующий год, у нее будет возможность встречаться с бельгийцем гораздо чаще. Он ей нравился. Она думала об этом, глядя на него, пока он заказывал очередной напиток. А когда бармен подал им бокалы с налитым в них чем-то, имеющим необыкновенный пастельный цвет и экзотическое французское название, бельгиец придвинулся лицом к ее лицу.

– Уже давно я не начинал воскресенья с таким очаровательным существом. Только что пробило полночь. Уже тридцатое апреля, – сказал он, после чего легонько дотронулся своим бокалом, словно чокаясь, до ее руки, а губами нежно прикоснулся к ее волосам.

Это было как электрический удар. Уже давно она не ощущала такого любопытства, что же произойдет дальше. Должна ли она позволять ему прикасаться губами к своим волосам? Имеет ли она право испытывать подобное любопытство? Что бы ей хотелось, чтобы произошло дальше? У нее есть красивый муж, объект зависти всех ее сотрудниц. Как далеко она может пойти, чтобы ощутить нечто большее, нежели этот давно забытый трепет, когда мужчина вновь и вновь целует твои волосы и закрывает при этом глаза? Муж давно уже не целовал ее волосы, и вообще он... такой чудовищно предсказуемый.

В последнее время она очень часто думала об этом. И обычно с тревогой. Нет, не то чтобы все стало обыденным. Вовсе не так. Но исчезла та движущая сила. Развеваясь где-то в будничности. Все остыло. Разогревалось только иногда, на минутку. В первую ночь по возвращении его или ее из дальней поездки, после слез и ссоры, которую они решали закончить в постели, после выпитого или каких-нибудь благовонных листьев, которые жгли на приемах, в отпуске на чужих кроватях, на чужом полу, в чужих стенах или в чужих машинах.

Это было постоянно. Лучше сказать, бывало. Но без бывшего неистовства. Без той мистической тантры, что была вначале. Без той ненасытности. Того голода, который приводил к тому, что стоило только подумать об этом, и кровь тут же, как ошалелая, с шумом отливала вниз, и мгновенно ты уже мокренькая. Нет! Такого не было уже давно. Ни после вина, ни после листьев, ни на паркинге у автострады, куда он свернул, потому что, когда они возвращались с какого-то приема, она, несмотря на то что вел он очень быстро, вдруг нырнула головой под его руки, державшие руль, – почему-то так подействовала на нее музыка, передававшаяся по радио, – и стала расстегивать ремень у него на брюках.

Наверное, причина в доступности. Все было на расстоянии вытянутой руки. Ни ради чего не надо было стараться. Они уже знали друг у друга каждый волосок, каждый возможный запах, каждый возможный вкус кожи, и влажной, и сухой. Знали все тайные уголки тел, слышали все вздохи, предвидели все реакции и давно уже поверили всем признаниям. Некоторые из них время от времени повторялись. Однако уже не производили впечатления. Они просто входили в сценарий.

В последнее время ей казалось, что секс с нею для мужа был чем-то вроде – как ей вообще могло прийти такое в голову? – католической мессы. Достаточно прийти в костел, ни о чем не думая, а потом неделю можно жить спокойно.

Может, так у всех? Возможно ли неутолимо желать того, кого знаешь уже несколько лет, кого видел, когда он кричит, блюет, храпит, мочится, не смывает после себя в клозете.

А может, это не так уж и важно? Может, необходимо только вначале? Может, хотеть лечь с кем-то в постель не самое важное, может, куда важнее проснуться вместе утром и приготовить друг другу чай?

– Я сделал что-нибудь не то? – Голос Жана вырвал ее из раздумий.

– Еще не знаю, – отвечала она с принужденным смешком. – Прошу прощения, я на минутку вас покину. Скоро вернусь.

В туалете она достала из сумочки губную помаду. Глядясь в зеркало, сказала сама себе:

– Завтра тебя ждет длинная дорога.

И стала подкрашивать губы.

– У тебя, между прочим, есть муж, – добавила она, грозя пальцем своему отражению.

Она вышла из туалета. Проходя мимо портье, услышала, как какой-то мужчина, стоящий к ней спиной, по буквам сообщает свое имя:

– Я-к-у-б...

Из сумочки она вынула свою визитную карточку, обратной, пустой стороной сильно прижала к губам, блестящим от свеженаложенной помады. Положила карточку около своего бокала с недопитым пастельного цвета напитком и сказала:

– Спокойной ночи.

ОН: Таксист, приехавший к опустевшему вокзалу Берлин-Лихтенберг, оказался поляком. Больше тридцати процентов берлинских таксистов – поляки.

– Отвезите меня в отель, обязательно дорогой, где есть бар и который находится недалеко от вокзала Берлин-ЦОО.

– В этом городе это нетрудно, – рассмеялся таксист.

Он зарегистрировался в отеле. Прежде чем отойти от стойки портье, спросил:

– Не были бы вы столь любезны разбудить меня за полтора часа до отхода с вокзала ЦОО первого поезда на Варшаву.

Молодой портье оторвался от каких-то бумаг и непонимающе уставился на него:

– Как это?.. За полтора часа? Какого поезда? В каком точно часу вас разбудить?

Он спокойно ответил:

– Видите ли, я сам точно не знаю. Но вы так впечатляюще пишете в рекламе вашего отеля, – он указал на яркий проспект, лежащий рядом с его паспортом, – что «Меркюр» – это не только безопасная крыша над головой в путешествии. «Меркюр» – это также само путешествие». Так что будьте добры, позвоните на вокзал, узнайте, когда отходит поезд на Варшаву, и разбудите меня ровно за девяносто минут до его отхода. Я был бы также благодарен вам, если бы вы заказали мне и такси. Я хочу выехать на вокзал за час до отхода поезда.

– Да, да, разумеется, – отвечал смешавшийся портье.

– И разрешите уж мне не идти сразу в номер и оставить багаж у вас. Я хотел бы потратить крупную сумму в баре вашего отеля. Надеюсь, вы последите, чтобы с моим багажом ничего не случилось?

Не дожидаясь ответа, он положил кожаную сумку с ноутбуком на чемодан и направился в сторону двери, из-за которой доносилась музыка.

Из шаровидных репродукторов под потолком наполненного шумом зала лился голос Натали Коул, поющий о любви. Он осмотрелся. У эллиптической стойки был свободен только один табурет. Но когда он подошел туда, его ждало разочарование: на стойке стоял недопитый бокал. Он уже собирался отойти, решив, что место занято, однако молодой мужчина, сидевший на соседнем табурете, обернулся и сказал по-английски:

– К сожалению, это место освободилось. Можете садиться, если желаете, – и с улыбкой добавил: – Место хорошее. Бармен часто подходит сюда.

Он сел и сразу уловил тонкий запах духов. «Ланком»? «Бьяджотти»? Он прикрыл глаза. Нет, пожалуй, «Бьяджотти».

Духи уже давно оказывали на него особенное воздействие. Они как сообщение, которое некто хочет передать. И тут никакой язык не нужен. Можно быть глухонемым, можно принадлежать к другой цивилизации, но сообщение ты все равно поймешь. В духах есть некий иррациональный, таинственный элемент. «Шанель № 5», «Л’эр дю Тан» или «Поэм» подобны стихотворению, которое женщина носит на себе. А некоторые духи безумно эротические, притягивающие. Они заставляют оглянуться, а то и пойти за женщиной, которая ими душится. Он вспомнил, как два года назад был в Прадо. И вдруг мимо него прошла женщина в черной шляпе, и его мгновенно окружил какой-то мистический аромат. Он тотчас забыл об Эль Греко, Гойе и прочих мастерах и последовал за той женщиной. А сейчас он подумал, что за женщиной, которая сидела тут до него и оставила свой запах, он тоже захотел бы пойти.

Он оперся локтями на стойку и наклонился вперед, чтобы обратить на себя внимание бармена, который якобы часто подходит сюда. И тогда-то он заметил лежащую рядом с бокалом визитную карточку. Контур губ, четко отпечатанный на белом картоне. Нижняя губа явно шире, энергичный изгиб верхней. Прелестные губы. У Натальи были точно такие же. Он поднес визитку к носу. Несомненно, «Бьяджотти»! Эта визитка, должно быть, принадлежала женщине, которая сидела здесь несколько минут назад. Он решил посмотреть, как ее зовут. Но только он перевернул карточку, как услышал:

– Прошу прощения, но эта визитка предназначена мне.

– О, разумеется. Я как раз хотел спросить, не ваша ли это, – соврал он.

Да, он опоздал. И не узнает, кому принадлежала она. Сосед взял визитку, спрятал в карман пиджака, оставил на кофейном блюде чаевые бармену и, не произнеся ни слова, ушел.

– Бутылку хорошо охлажденного «Просекко»². И сигару. Самую дорогую, какая у вас есть, – заказал он бармену, который в этот момент встал перед ним.

Такие же губы были у его мамы. Но у мамы все было красивое.

И минувший день, и эти несколько часов в определенном смысле принадлежали его матери. И вовсе не потому, что в день своего рождения он думал, как она его рожала.

Он прилетел вчера утром из Сиэтла в Берлин только затем, чтобы наконец увидеть, где родилась его мать. Последние годы ее биография интересовала его, как роман, в нескольких важных главах которого он принимал участие. И теперь ему хотелось узнать самые первые.

Родилась она недалеко от станции Берлин-Лихтенберг в больнице сестер-самаритянок. Дед уехал вместе со своей находящейся на сносях женой в Берлин в надежде, что жить там им будет легче. Как это теперь называется? А, экономическая эмиграция. Да, именно так. Спустя неделю после приезда в Берлин бабушка родила его мать. В больнице самаритянок. Только туда привозили рожениц прямо с улицы. То есть бесплатно. Вчера он был возле этого здания. Сейчас там находится какой-то турецкий экспериментальный театр.

Через три месяца дед и бабушка возвратились в Польшу. Не смогли они жить в Германии. Но то, что они пробыли там всего три месяца, не имеет значения. В свидетельстве о рождении его матери навсегда осталась историческая помета: место рождения – Берлин. Так его мама стала немкой. И благодаря этому у него теперь есть немецкий паспорт и он может летать в Сиэтл без визы. Но он все равно летает с двумя паспортами. Однажды он забыл польский паспорт и чувствовал себя как перемещенное лицо.

Потому что он может быть только поляком.

Кельнер принес голубую бутылку «Просекко», серебристую тубу с кубинской сигарой и маленькую гильотинку. Пока тот открывал бутылку, он закурил сигару. Первый бокал он выпил залпом. Сигара была превосходна. Давно он не курил таких прекрасных сигар. Разве что в Дублине. Много лет назад.

Он не мог перестать думать о вчерашнем походе по прошлому его мамы. Ее немецкость – это не только больница сестер-самаритянок в довоенном Берлине и не только запись в свидетельстве о рождении. Все гораздо сложнее. В точности как ее биография.

Он родился в один из тридцатых апрелей и был третьим ребенком третьего мужа его матери. Это День святого Иакова, то есть Якуба. И все думают, будто потому ему и дали имя Якуб. Но все вовсе не так. Якубом звали второго мужа его матери. Польский артист, который в 1944 году был назначен немцем только потому, что родился на двенадцать километров западней, чем следовало бы, а на Восточном фронте окопы должны были быть заполнены. Тогда истинные германцы делали менее истинными германцами всех подряд. И сразу после этого, разумеется, делали их немецкими солдатами. Солдатами тогда становились почти все. Хромые, душевнобольные, туберкулезники. Все могли и должны были быть в ту пору солдатами. Второй муж его матери об этом не знал. Он не представлял себе дней и ночей без

² Знаменитое итальянское белое вино.

нее. Потому перед медицинской комиссией он сперва вгонял себя в пот, а потом бегал в парке босиком по снегу – надеялся подхватить туберкулез. Туберкулез он подхватил. Но его все равно погнали в окопы.

После войны его мать и ее второй муж больше не встретились. Не помогла даже их великая любовь. Когда его мать чуть-чуть оправилась от горя и наконец осознала, что война отняла у нее мужа и тут ничего не поделаешь, в ее жизни появился его, Якуба, будущий отец. Исхудавший, до головокружения красивый, стопроцентный поляк, вернувшийся из Штуттхофа. Она с национальностью «немка» и он после трех лет немецкого лагеря. Отец ни разу не дал ему почувствовать, что ненавидит немцев. Хотя он их ненавидел. Интересно, простил бы отец ему, что он поселился в Германии?

Его родители – наилучшее доказательство, что разделение на немцев и поляков всего лишь результат сговора историков, которым удалось убедить целые народы. Впрочем, вся история всего-навсего сговор. Главное, чтобы всех обмануть. Они и сговорились, что именно эту, а не другую ложь будут преподавать в школе.

Ему опять становилось грустно. Хватит на сегодня грусти. Как-никак сегодня у него день рождения. Он вынул бутылку из серебряного ведерка со льдом. Налил себе еще один бокал. Он едет домой.

ОНА: Все места в вагонах первого класса оказались распроданы. Да, она сделала ошибку, не купив обратный билет еще в Варшаве. Кассирша на вокзале Берлин-ЦОО сказала:

– Есть несколько свободных мест во втором классе. Все в купе для курящих. Возьмете?

Перспектива несколько часов ехать в дымной клетке наполнила ее ужасом. Но что оставалось делать?

Она села у окна. Лицом по направлению движения. В купе она была одна. Поезд отправлялся через полчаса. Она вытащила из чемодана книжку и папку с материалами берлинской встречи. Очки. Бутылку минеральной воды. Сотовый телефон. CD-плеер, компакт-диски, запасные батарейки. Сняла туфли, растянула две пуговицы на юбке.

Купе постепенно заполнялось. Громкоговоритель объявил об отправлении поезда, а одно место все еще оставалось пустым. Поезд уже тронулся, когда дверь купе отодвинулась. Она подняла голову от книжки, и их глаза встретились. Она выдержала его взгляд. Это он отвел глаза. В этот миг в нем было что-то от смутившегося мальчика. Чемодан он забросил на полку под потолком. Достал из кожаной сумки ноутбук. Сел на свободное место у двери. Ей казалось, что он смотрит на нее. Она засунула ноги в туфли. Подумала, видит ли он растянутые пуговицы на юбке.

Через минуту он встал. Достал из сумки банку диетической кока-колы и три ярких журнала – «Шпигель», «Плейбой» и «Впрост». Положил их себе на колени. Непонятно почему, но когда она поняла, что он поляк, ее это обрадовало.

Он снял пиджак. Закатал рукава темно-серой рубашки. Какой загорелый... Волосы у него были в беспорядке, как будто в купе он примчался прямо из постели. И он был небрит. Рубашка растянута. Молодым его не назовешь, скорей молодежливый. Как только он вошел, она подумала: «Только бы никто сейчас не закурил». Потому что, войдя, он заполнил все купе ароматом своей туалетной воды. Ей хотелось как можно дольше ощущать этот запах.

Она украдкой поглядывала на него из-под очков. Он читал. Она тоже вернулась к своей книжке. Но в какой-то момент ощутила беспокойство. Она подняла голову. Он смотрел на нее. У него были печальные, усталые серо-зеленые глаза. Пальцы правой руки он прижал к губам и пытливо вглядывался в нее. Ей вдруг стало странно тепло. Она улыбнулась ему.

Он отложил журналы и занялся ноутбуком. Пассажиры в купе с любопытством поглядывали на него. Из кармана пиджака он достал сотовый телефон, после чего наклонился вперед и подключил его к специальному гнезду в задней части компьютера. Возможно, не все в купе понимали, что он собирается делать, но она знала: он подсоединился к Интернету.

Вначале она подумала: все эти его действия с компьютером в купе поезда, только что отошедшего от Берлина, претенциозны, и делает он это напоказ, но потом, наблюдая за тем, как внимательно он всматривается в экран, она решила, что... Нет, в нем нет никакой претенциозности, и он не показушник.

Она незаметно засунула руку под блузку и застегнула пуговицы на юбке. Поправила прическу и села прямо.

ОН: Если на кого и можно рассчитывать в Германии, то только на уборщиц из Хорватии.

Естественно, никто его не разбудил за полтора часа до отхода поезда на Варшаву. Некому было даже сказать, что это позор для отеля, где дерут по триста долларов за ночь. Ночного портье давно уже не было за стойкой, а что до сменившей его блондинки, то, судя по ее виду, она и знать не знала, где на карте находится Варшава.

Разбудила его уборщица, которая, думая, что номер пустой, вошла, когда он еще спал, чтобы произвести уборку. Он не знал, в котором часу отходит поезд до Варшавы, но когда увидел, что уже без пяти одиннадцать, понял, что времени у него в обрез.

Не обращая внимания на все еще стоящую в номере уборщицу, он голый с криком «О курва мать!» выскочил из постели и в бешеном темпе стал одеваться. Поскольку уборщица была из Хорватии, смысл выражения «курва мать» для нее не был тайной, и пока он сметал все, что было на полочке в ванной, в несессер, она паковала в его чемодан все, что лежало на ночном столике и у телевизора. Через несколько минут он вылетел из номера. Подчиняясь первому импульсу, подбежал к стойке регистрации, однако того портье, к счастью, уже не было. Когда же он сориентировался, что блондинка за стойкой представления ни о чем не имеет, то даже не заплатил. У них есть номер его кредитной карточки. Кроме того, в поезде он сможет войти в Интернет и расплатиться. Карточка «Американ Экспресс», которую он получил от фирмы, позволяет это сделать.

Перед отелем стояла вереница такси. Водитель вошел в положение и за десять минут довез до вокзала. Билета он не купил. Пробежал на перрон и вскочил в вагон, стоявший прямо напротив выхода из туннеля. Удалось. Поезд тронулся. Он открыл дверь первого же купе.

Она сидела у окна. На коленях книжка. Губы у нее были как те, отпечатанные на обороте визитной карточки. Волосы, сколотые на затылке. Высокий лоб. Она была красива.

Он занял единственное свободное место. Он был безбилетник. Неважно. Эту проблему он разрешит, когда придет кондуктор. В карточке, висящей на двери вагона, он прочитал, что место зарезервировано за пассажиром, который сядет во Франкфурте-на-Одере.

Он достал газеты. В гостиничном киоске польская пресса тоже продавалась! То, что «Выборчу» можно спокойно купить наряду с французскими, американскими, итальянскими и английскими газетами в гостиничном киоске в центре Берлина, в тысячу раз важнее, чем все заявления о «готовности Польши к вхождению в Европу».

В какой-то момент он не выдержал. Поднял глаза над газетой и стал разглядывать ее. Кроме помады на губах, на ней не было никакой косметики. Она читала, время от времени притрагиваясь пальцами к уху. Руки у нее были замечательно красивые. Когда она переворачивала страницу, казалось, будто она ласково лишь чуть касается ее длинными пальцами.

Она подняла голову и улыбнулась ему. На сей раз он не смутился. Ответил улыбкой.

Читать ему больше не хотелось. Он подключил телефон к компьютеру и запустил программу электронной почты. Медленно прошел всю процедуру идентификации. Модем в сотовом телефоне, пожалуй, самый медленный из всех, что существуют. Он часто задумывался, почему так. Ладно, он займется выяснением этого, когда вернется в Мюнхен.

В его почтовом ящике в компьютере мюнхенского института был только один e-mail. В обратном адресе были данные какого-то банка в Англии.

Опять какая-нибудь реклама, подумал он.

Он хотел сразу же нажать delete, но его внимание привлекла первая часть адреса: Jennifer@. В его воспоминаниях имя это звучало, как музыка. И он решил прочесть послание.

Камберли, Суррей, Англия, 29 апреля

Ты ведь J. L., правда???!!!

Так следует из твоей веб-странички. Я проторчала на ней все сегодняшнее утро в своем кабинете в банке. Вместо того чтобы войти на страницу лондонской биржи и работать, за что мне, кстати сказать, неплохо платят, я слово за словом читала твою страницу. А потом взяла такси и поехала в центр Камберли в книжный магазин купить польско-английский словарь. Я выбрала самый большой, какой был. Мне хотелось понять и те фрагменты, которые на странице опубликованы по-польски. Всего я, разумеется, не поняла, но уловила атмосферу. Такую атмосферу умел создавать только L. J., а значит, это несомненно ты.

После работы я пошла в мой любимый бар «Клуб 54» около вокзала и напилась. Я уже четыре дня голодаю, так как два раза в год «очищаюсь», голодая по неделе. Знаешь ли ты, что если выдержишь первые три дня полного голодания, тоходишь в состояние своеобразного транса? Твоему организму ничего не нужно переваривать. Только тогда ты понимаешь, что крадет у тебя процесс пищеварения. У тебя внезапно появляется бездна энергии. Живешь, как под хмельком. Ты ощущаешь в себе творческие силы, возбуждение, все чувства невероятно усиливаются и обостряются. Твоя восприимчивость подобна сухой губке, готовой всосать все, что окажется поблизости. В такие периоды сочиняют прекрасные стихи, придумывают неслыханно революционные научные теории, ваяют или пишут провокативные или авангардные произведения, а также с небывалым успехом делают покупки на бирже. Вот это я могу с полной уверенностью подтвердить. Кроме того, Бах во время «голодовки» такой... такой... Короче, такой, как будто его играет сам Моцарт.

Но подобное состояние достигается, только если выдержишься «в муках» первые два или три дня. Эти два или три дня – непрерывная борьба с голодом. Я даже ночью просыпаюсь от голода. Но я прошла через все это и сегодня утром начала ощущать возбуждение «непереваривания». И в этом состоянии возбуждения наткнулась на твою интернет-страницу. Лучший момент просто придумать невозможно.

И все остальное стало совершенно неважно.

В сущности, голодания я не прерывала. В этом баре я ведь ничего не ела. Только пила. Главным образом, за воспоминания. Не пей никогда – даже если эта «Кровавая Мери» такая же отменная, какую делают в «Клубе 54», и у тебя будут самые замечательные воспоминания – на четвертый день голодовки. Съешь что-нибудь перед этим.

Потом я вернулась домой и написала этот e-mail. Он словно страница из дневника изголодавшейся (3 дня без пищи), пьяной (2 «Кровавых Мери» и 4 «Гиннеса») женщины с прошлым (12 лет биографии).

Потому прошу, отнесись к нему со всей серьезностью.

Пред-скриптом: «Остров» в этом тексте – на случай, если ты забыл, – это мой родной остров Уайт. Маленькое пятнышко на карте между Англией и Францией в проливе Ла-Манш. Я там родилась.

Дорогой J. L.!

Знаешь ли ты, что письмо это я писала минимум тысячу раз?

Писала мысленно, писала на песке пляжа, писала на самой лучшей бумаге, какую только можно купить в Соединенном Королевстве, писала авторучкой у себя на бедре. Писала на конвертах пластинок с музыкой Шопена.

Я столько раз писала его...

Но так и не отослала. За последние 12 лет – потому что все это было ровно двенадцать лет назад – я не отослала по меньшей мере тысячу писем ЕМУ.

Потому что это письмо вовсе не тебе. Это письмо Эл. Дж. Я просто переставила инициалы и назвала его Элджот.

Ты на самом деле J. L., но его ты знаешь. Знаешь, наверно, так, как не знает никто другой. Обещай, что перескажешь ему то, что я написала. Перескажешь?

Ведь Эджот должен был быть как антракт между первым и вторым действием оперы. Я во время этого антракта пью самое лучшее шампанское, какое только есть в баре. Ну а если у меня для этого нет возможностей, я остаюсь дома и слушаю пластинки. И он должен был быть таким вот шампанским. Только в антракте. Должен был ударять в голову. Должен был порадовать вкус и вызвать легкий хмель на второе действие. Чтобы музыка стала еще прекрасней.

Эджот таким и был. Как самое лучшее и самое дорогое шампанское в баре. Он ошеломил меня. Потом следовал еще один перерыв. А потом спектакль кончался. И шампанское тоже. Но так не случилось. Впервые в жизни из всей оперы я лучше всего запомнила перерыв между первым и вторым действиями. Перерыв этот по-настоящему так никогда и не кончился. Я поняла это сегодня днем в том клубе. Главным образом благодаря чувствам, обостренным четырьмя днями голодания и четвертому бокалу «Гиннеса».

Я провела с ним 88 дней и 16 часов моей жизни. Ни у одного мужчины не было так мало времени, и ни один не дал мне так много. Один пробыл со мной 6 месяцев и не сумел дать мне того, что у меня было с Эджем уже после 6 часов. Я продолжала быть с этим человеком, так как считала, что его «шесть часов» еще наступят. Я ждала. Но они так и не наступили. Как-то во время очередной бессмысленной ссоры он закричал:

– Ну и что такого дал тебе этот чертов поляк, от которого у тебя не осталось ничего? Даже его чертовой фотографии нет. – А когда он торжествующе изрек: – Да имел ли он представление о том, что такое фотоаппарат? – я выставила его полупустой чемодан, с которым он переехал ко мне, за дверь.

Так что же дал мне этот «чертов поляк»? Что?

Например, дал мне оптимизм. Он никогда не говорил про печаль, хотя я знала, что он пережил бесконечно печальные времена. Он заражал оптимизмом. Дождь для него был всего лишь коротким промежутком перед появлением солнца. Всякий, кто жил в Дублине, поймет, что подобный образ мыслей – пример сверхоптимизма. Это при нем я открыла, что носить можно не только черное. При нем я поверила, что мой отец любит мою мать, только не может проявить это. Даже моя мать никогда не верила в это. Ее психотерапевт тоже.

Например, он подарил мне такое чувство, когда кажется, что через минуту ты сойдешь с ума от желания. И при этом ты знаешь, что желание твое исполнится. Он умел рассказать мне сказку о каждом кусочке моего тела. И не было такого места, которого он не коснулся бы или не изведать его вкус. Будь у него время, он перецеловал бы каждый волосок у меня на голове. Все по очереди. При нем мне всегда хотелось раздеться еще больше. У меня было ощущение, что я почувствовала бы, наверное, себя еще более обнаженной, если бы мой гинеколог вынул у меня спираль.

Он никогда не искал эрогенных зон на моем теле. Он считал, что женщина является эрогенной зоной вся в целостности, а в этой целостности самый эрогенный участок – мозг. Эджот слышал о пресловутой G-точке в женском влагалище, но он ее искал в моем мозгу. И практически всегда находил.

Я дошла с ним до конца каждой дороги. Он приводил меня в такие чудесно грешные места. Некоторые из них сейчас для меня святыни. Иногда, когда мы любили друг друга, слушая оперы или Бетховена, мне казалось, что невозможно быть еще нежнее. Как будто у него было два сердца вместо двух легких. А может, так оно и было...

Так, например, он подарил мне маленькую красную резиновую грелку в форме сердца. Размером чуть больше ладони. Милый. В Дублине только он один мог придумать что-либо подобное. Потому что только он обращал внимание на такие вещи. Он знал, что у меня страшный предменструальный период, предшествующий еще худшим дням, и что тогда я становлюсь несправедливой, жестокой, эгоистичной, злобной ведьмой, которой все мешает. Даже то, что восток находится на востоке, а запад на западе. Однажды он поехал на другой конец Дублина и купил эту грелку. В ту ночь, когда у меня безумно болело, он встал,

наполнил грелку горячей водой и положил мне на живот. Но сперва целовал мне это место. Сантиметр за сантиметром. Медленно, осторожно и невероятно нежно. Потом положил мне эту грелку. И когда я, восхищенная, смотрела на это маленькое чудо, он принялся целовать и сосать пальцы моих ног. Сперва на одной ноге, потом на другой. Он все время смотрел мне в глаза и целовал. Хотя у тебя и не бывает предменструальных периодов, ты все равно ведь способен представить, как это чудесно. К сожалению, я пережила с ним всего лишь три таких периода.

А еще, например, он подарил мне детскую любознательность. Он спрашивал обо всем. Точь-в-точь как ребенок, имеющий право задавать вопросы. Он хотел знать. И научил меня, что «не знать» – это значит «жить в опасности». Он интересовался всем. Все обсуждал, все подвергал сомнению и склонен был поверить всему, как только удавалось убедить его фактами. Помню, как однажды он шокировал меня вопросом:

– Как ты думаешь, Эйнштейн онанировал?

Он научил меня, что следует покоряться своим желаниям, как только они приходят, и ничего не откладывать на потом. Так, во время приема в огромном доме какого-то жутко важного профессора генетики в процессе нуднейшей научной дискуссии о «генетической обусловленности сексуальности млекопитающих» он вдруг встал, подошел ко мне, наклонился – все умолкли, глядя на нас, – и прошептал:

– На втором этаже дома есть ванная, какой ты в жизни не видела. Глядя на тебя, я не могу сосредоточиться на дискуссии о сексуальности. Пойдем скорей в эту ванную. – И добавил: – Как ты думаешь, это генетическая обусловленность?

Я послушно встала, и мы пошли вверх. Молча он поставил меня к зеркальной дверце шкафа, спустил брюки, раздвинул мне ноги, и... И «генетически обусловленная сексуальность млекопитающих» обрела совершенно иное чудное значение. Когда через несколько минут мы вернулись и сели на свои места, на миг воцарилась тишина. Женщины пытливо смотрели на меня. Мужчины закурили сигары.

Еще он, например, подарил мне ощущение, что я для него самая главная женщина. И все, что я делаю, для него имеет значение. Каждое утро, даже если мы спали вместе, он, здороваясь со мной, целовал мне руку. Открывал глаза, вытаскивал мою руку из-под одеяла и целовал. И говорил при этом: «Дзень добры». Всегда по-польски. Как в первый день, когда нас представили друг другу.

Иногда, случалось, он просыпался ночью, «пораженный какой-нибудь идеей» – так он это называл, – тихонько вылезал из постели и шел заниматься своей генетикой. Под утро возвращался, залезал под одеяло, чтобы поцеловать мне руку и сказать «дзень добры». Он наивно думал, что я не замечала его уходов. А я даже наносекунды, проведенные без него, замечала.

Он мог прибежать в институт, где у меня были занятия, и сказать, что опоздает на ужин на десять минут и чтобы я не беспокоилась. Понимаешь, невероятно долгие десять минут...

Он подарил мне, например, за эти 88 дней и 16 часов больше пятидесяти пурпурных роз. Потому что я больше всего люблю пурпурные розы. Последнюю он подарил мне в тот последний шестнадцатый час. В аэропорту в Дублине перед самым отлетом. Знаешь ли ты, что, когда я возвращалась из аэропорта, мне казалось, что эта роза – самое главное, что мне кто-либо когда-либо дал за всю мою жизнь?

Он был моим любовником и одновременно лучшей подругой. Нечто подобное случается только в фильмах и причем только тех, которые снимают в Калифорнии. А со мной случилось в действительности в дождливом Дублине. Он давал мне все и ничего не хотел взамен. Совершенно ничего. Никаких обещаний, никаких клятв, никаких обетов, что «только он и никогда никто другой». Попросту ничего. Это был его единственный ужасный недостаток. Не может быть для женщины большей муки, чем мужчина, который так добр, так верен, так любит, такой неповторимый и который не ждет никаких клятв. Он просто существует и дает ей уверенность, что так будет вечно. Вот только боишься, что вечность эта – без всяких стандартных обетов – будет короткой.

Моя вечность длилась 88 дней и 16 часов.

С 17 часа 89 дня я начала ждать его. Уже там, в аэропорту. От дверей терминала он отъехал в автобусе. Медленно поднялся по трапу, ведущему в самолет, и на самом верху у самолетной двери повернулся к смотровой террасе, на которой стояла я – он знал, что я там стою, – и прижал правую руку слева к груди. Так он стоял несколько секунд и смотрел в мою сторону. Потом исчез в самолете.

Больше я его не видела.

Первые три дня голодания ничто в сравнении с тем, что я пережила в первые три месяца после его отъезда. Он не написал. Не позвонил. Я знала, что самолет долетел до Варшавы, потому что после недельного его молчания позвонила в лондонское бюро ЛОТ, чтобы убедиться, что ничего страшного не произошло.

Он просто прижал руку к сердцу и исчез из моей жизни.

Я страдала, как ребенок, которого отдали на неделю в приют, а потом забыли взять. Я тосковала. Невероятно. Я любила его и потому не могла желать ему плохого и оттого еще больше страдала. Через некоторое время в отместку я перестала слушать Шопена. Потом – в отместку – выбросила пластинки со всеми операми, которые мы слушали вместе. Потом – в отместку – возненавидела всех поляков. Кроме одного. Его. Потому что на самом деле я не способна мстить.

Потом мой отец бросил мою мать. Мне пришлось на полгода прервать учебу и из Дублина вернуться на Остров, чтобы помочь ей. Но больше всего это помогло мне самой. На Острове все просто. Остров возвращает вещам истинные их пропорции. Когда идешь на береговой обрыв, который был тут уже 8 тысяч лет назад, то многие вещи, которые людям кажутся безмерно важными, утрачивают значение.

Спустя полгода после его отъезда, уже перед Рождеством, мне на Остров прислали пачку писем, пришедших на мое имя в Дублин. Среди них я нашла письмецо от Элджота. Единственное за все эти 12 лет. На безвкусной почтовой бумаге какого-то отеля в Сан-Диего он написал:

«Единственное, что я мог сделать, чтобы пережить разлуку, это полностью исчезнуть из твоей жизни. Ты была бы несчастлива здесь со мной. Я не был бы счастлив там.

Мы с тобой из разделенного мира.

Я даже не прошу, чтобы ты меня простила. То, что я сделал, простить нельзя. Можно только забыть.

Забудь.

Якуб.

P.S. В Варшаве, когда у меня есть время, я обязательно еду в Желязову Волю. Приезжаю туда, сажусь на скамейку в саду дома Шопена и слушаю музыку. Иногда плачу».

Я не забыла. Но письмо это мне помогло. Хотя я и не согласилась, но хотя бы узнала, как он справился с тем, что было между нами. Это было самое эгоистическое решение из всех известных мне, но я хотя бы узнала, что он что-то решил. У меня было хотя бы это его «иногда плачу». Женщины живут воспоминаниями. Мужчины тем, что они забыли.

Я вернулась в Дублин, окончила институт. Потом отец решил, что я буду вести дела нашей семейной фирмы на Острове. Я выдержала год. Я убедилась, что мой отец – человек с нулевым коэффициентом эмоциональной интеллигентности. Его высокий IQ тут ничего изменить не мог. Чтобы окончательно не возненавидеть его, я решила бежать с Острова.

Я уехала в Лондон. Защитила докторскую по экономике в колледже Куинз-Мери, научилась играть на фортепьяно, ходила на балет, нашла работу на бирже, слушала оперы. Но уже никогда не было такого антракта, который оказался бы важнее спектакля. И такого шампанского тоже.

Потом пошли мужчины без всякого смысла. И чем больше их было, тем меньше мне хотелось сближаться с каждым последующим. Дошло даже до того, что порой, когда мы

лежали в постели и мужчина целовал меня «там внизу», я «там наверху» все равно чувствовала себя одинокой. Потому что они лишь механически касались меня эпидермой своих губ или языка. А Эджот... Эджот меня попросту «съедал». С такой же жадностью, с какой съедают первую клубнику. И иногда опускал ее в шампанское.

Я так и не сумела полюбить ни одного из этих мужчин, у которых на губах была только эпидерма.

После двух лет пребывания в Лондоне я обратила внимание, что у меня совсем нет друзей, а большинство моих друзей гомосексуалисты. Если не брать в расчет их несколько отличную ориентацию, они часто оказываются по-настоящему мужчинами. Мне повезло встретить лучших из них. Тонких, деликатных, слушающих то, что ты им говоришь. Им не надо притворяться. И если они платят за твой ужин, то вовсе не для того, чтобы тем самым обеспечить себе право стянуть с тебя трусики. Ну а то, что в ушах они носят сережки...

Это же просто гениально – как говорит одна из моих сотрудниц в банке, – по крайней мере есть гарантия, что человек знает, что такое боль, и понимает толк в бижутерии.

Потом ушла из жизни мама. Никто не знает, как это произошло. Она плыла на пароме с Острова в Кале и упала за борт. Тело ее так и не нашли. Зато в ее спальне в шкафу нашли заветное, написанное буквально за неделю до смерти, и обручальное кольцо, перепиленное пилкой для металла пополам.

Первое время горе мое было так огромно, что я не могла по утрам заставить себя встать. У меня была эндогенная депрессия. Тогда мне больше всего помог прозак. Маленькая бело-зеленая таблетка с чем-то магическим внутри. Помню, как Эджот пытался объяснить мне магию действия прозака. Он говорил, что это как карточный фокус. Картами были какие-то нейротрансмиттеры на синапсы. До конца я так и не поняла. Но знаю, что он действует. Мой психиатр тоже знал это.

А знаешь ли ты, что в депрессии люди чаще всего совершают самоубийство, когда прозак начинает действовать и они уже находятся на дороге к выздоровлению? В разгар депрессии ты совершенно вялый и тебе неохота даже перерезать себе вены. Ты ходишь или лежишь, будто в схватывающемся бетоне. А вот когда прозак начинает действовать, у тебя появляется достаточно сил, чтобы раздобыть бритву и пойти в ванную. Потому что, кто находится на самом дне депрессии, должны принимать прозак в клинике, а безопасней всего, если их еще привязывают ремнями к кровати. Это чтобы они не могли пойти в одиночку в ванную. Однако они вполне способны обмануть бдительность санитаров и пробраться на крышу здания клиники.

После прозака мой психиатр объявил мне, что я должна «произвести практическую ретроспекцию» и поехать в Польшу. Этакий психоаналитический эксперимент, чтобы сократить лежание на диване.

Это было в мае. Я приехала в воскресенье. У меня был подробный план «практической ретроспекции» на все семь дней: Варшава, Желязова Воля, Краков, Освенцим. Но это был всего лишь план. В Варшаве я почти все время провела в отеле недалеко от памятника, возле которого постоянно стоят часовые. Каждое утро после завтрака я заказывала такси и ехала в Желязову Волю. Там сидела на скамейке возле дома и слушала Шопена.

Иногда не плакала.

В Желязовой Воле я бывала ежедневно. За исключением четверга. В четверг, когда я, как обычно, ехала туда в такси, по радио произнесли его фамилию. Я велела таксисту развернуться и ехать во Вроцлав.

В деканате целый час искали кого-нибудь, кто говорит по-английски. А когда нашли, какая-то милая женщина сказала мне, что Эджот уехал в Германию и вряд ли вернется, потому что «нужно быть полным идиотом, чтобы вернуться сюда».

Как он мог уехать в Германию? После того, что немцы сделали в лагере с его отцом?

Эта милая женщина из деканата не знала его адреса. Да, впрочем, я и не хотела его получить. В тот же вечер я вновь была в Варшаве. Практическая ретроспекция была завершена. Психиатр оказался не прав. Это ни капельки не помогло.

Может, ты знаешь, по какому праву, по какому чертову праву Элджот решил, что я была бы несчастна в этой стране? Почему? Потому что дома серые, потому что в магазинах только уксус, потому что телефоны не действуют, потому что нет туалетной бумаги, потому что кружки для газированной воды прикованы ржавыми цепями? Почему он не спросил меня, что мне действительно необходимо в жизни? Да я вообще не звоню по телефону. Не пью газированную воду, а уксус добавляю всюду, даже в fish'n'chips³.

Нет! Он даже не удосужился спросить меня. Он, который спрашивал меня обо всем, даже про то, «что ты ощущаешь, когда в тебе набухает от крови тампон».

Он просто прижал руку к одному из своих двух сердец и уехал. А ведь я могла бы вместе с ним копать колодец, если бы оказалось, что там, куда он меня привез, еще нет воды.

А потом и мир, который якобы нас разделил, перестал быть разделенным. Настали такие времена, что вечером я ложилась спать, а ночью в какой-нибудь стране менялся политический строй.

В Лондоне для меня слишком высокое давление. Чтобы выдержать его, надо быть герметичным, иначе все из тебя уйдет. Это чистой воды физика. Но я не умела быть до такой степени непроницаемой. Вдвоем гораздо легче «удерживать крышку». Я же могла быть только одна. Даже если я и позволяла кому-то засыпать рядом с собой, то всегда получалось так, что я удерживала две крышки. А кроме того, мне по определению было трудней. Я ведь родом из деревни. И Дублин ничего не изменил. Остров всегда был деревней. Деревней на береговом обрыве. Самой прекрасной на свете. Однако я не хотела возвращаться на Остров. Потом оказалось, что в этом и не было надобности.

Как-то после оперы и ужина, который на самом деле был дележом под черную икру «остатков» какого-то мелкого банка между двумя крупными, директор одного из крупных банков спросил у меня – я была приглашена, поскольку считалась «многообещающим биржевым аналитиком младшего поколения», что в переводе на общепринятый в банке язык означало, что у меня лучшая грудь в отделе ценных бумаг, – так вот, он спросил меня, не живу ли я в Ноттинг-Хилле. Когда я шутливо ответила, что квартира в Ноттинг-Хилле мне не по карману, он улыбнулся, продемонстрировав безукоризненно белые зубы, и сказал, что это очень скоро изменится, но, впрочем, это не имеет никакого значения, «поскольку он всегда живет рядом со мной, где бы я ни квартировала». Я прекрасно поняла его. Мне даже понравился этот его ответ. Он был француз, но говорил – а это просто абсолютное исключение – по-английски с американским акцентом. Понравилось мне также и то, что он, хоть и был самой важной персоной в этой банковской компании, весь вечер в отличие от других был молчалив. Кроме того, здороваясь, он поцеловал мне руку. С ужина мы ушли вместе.

Жил он в отеле «Парк Лейн». И был импотент. Ни один мужчина после Элджота не был так нежен, как он в тот вечер. Когда утром я проснулась в его постели, его уже не было. Через неделю он спросил меня, не хотела бы я руководить «стратегически важным отделом нашего банка в Ноттинг-Хилле». Я не хотела. После ланча я позвонила ему и спросила, нет ли у него какого-нибудь «стратегически важного отдела» в Суррее. Суррей почти как Остров, только что моря нет. В тот же вечер он прилетел из Лиона, чтобы за ужином сообщить мне, что «разумеется, такой отдел есть, существует с сегодняшнего дня». Когда после коктейля у стойки бара мы пошли в «Парк Лейн», там стоял самый лучший проигрыватель компакт-дисков, какой только можно найти за несколько часов в Лондоне. А рядом в четыре ряда стояли несколько сотен дисков классической музыки. Несколько сотен.

Думаю, он любит меня. Он тонкий, чувствительный и с такой грустью вглядывается в мои глаза. Он не большой поклонник музыки, но привозит мне все, что музыкально одаренная ассистентка из отдела рекламы в его банке отыскивает по всему свету в звукозаписывающих фирмах, которые специализируются на выпуске классики. Иногда я

³ Рыба с жареной картошкой(англ.).

получаю диски еще до того, как они появятся в европейских магазинах. Он способен прилететь из Лиона, встретиться со мной в аэропорту и забрать на концерт в Милан, Рим или Вену. Иногда после концерта мы не идем ни в какую гостиницу. Он возвращается в Лион, а меня сажают в самолет до Лондона.

Во время концерта он все время сжимает и целует мне руки. Я этого не люблю. Концерт Караяна – это все-таки не фильм в затемненном зале. Но я позволяю это делать. Он славный мужчина.

Он ничего особенного не требует от меня. Я должна только говорить, как сильно я его хочу. Не больше. Иногда он рассказывает мне о своих дочках и жене. Достает бумажник и показывает их фотографии. Он добрый, заботится обо мне. Три раза в неделю я получаю от него букеты цветов. Иногда их приносят даже ночью.

Я не сказала ему, что люблю пурпурные розы. Для меня это слишком личное.

Я могла бы руководить этим банком в Кэмберли. Уже с завтрашнего утра. Достаточно было бы одного телефонного звонка. Но я не хочу. Предпочитаю быть «многообещающим биржевым аналитиком» и не нести никакой ответственности.

Я все лучше играю на фортепьяно. Много путешествую. В Кэмберли у меня старый дом с садом, где растут пурпурные розы. В уик-энды, если он не прилетает из Лиона, я встречаюсь в Лондоне с моими друзьями, которые носят в ушах серьги, и мы устраиваем всякие безумства. Иногда я навещаю Остров.

Также раз в год я езжу в Дублин на встречу нашего выпуска. Происходит она во вторую субботу мая. В Дублине я ночую в Тринити Колледж. С тех пор как оттуда уехал Эджот, там практически ничего не изменилось. Но в Тринити ничего не меняется с XIX века. Ночью в субботу я удираю со встречи нашего курса и иду по коридорам к кабинету, где он тогда работал. Сейчас там какой-то склад. Но двери все те же. Тогда я тоже неоднократно там стояла. А один раз все-таки решилась постучать. Но то была немножко другая ночь, чем эта. И было это ровно 12 лет назад. Только тогда его день рождения уже кончался, а не начинался.

Потом ухожу оттуда и по пути останавливаюсь у лекционной аудитории, где свет с грохотом загорался и гас, когда он опирался спиной о выключатели, а я стояла перед ним на коленях. Сейчас войти туда нельзя, но через гравированное стекло в дверях все видно. Потом я возвращаюсь на встречу и напиваюсь.

Последнее время я чувствую себя очень одиноко. У меня будет ребенок. Сейчас самое время родить ребенка. Ведь мне уже тридцать пять лет. Кроме того, я хочу иметь что-то принадлежащее одной мне. Что-то, что я буду любить. Ведь если говорить по правде, то больше всего в жизни я хочу кого-нибудь любить.

Несколько дней назад я послала e-mail в The Sperm Bank of New York, самый лучший банк спермы в США. Они строже всех хранят тайну, делают самые лучшие генетические тесты, и у них самые полные каталоги. Через месяц я лечу на встречу с их генетиком. В принципе это всего лишь формальность. Мне бы хотелось девочку. Я послала им свой профиль. Ты даже не представляешь себе, как много доноров с IQ выше 140! Кроме того, донор должен быть «из музыкально одаренной среды», иметь докторскую степень и происходить из Европы. Мне прислали список фамилий более чем 300 доноров. Я выбрала только тех, у кого были польские фамилии.

Я задумалась, какие глаза были у Эджота. Он говорил, серые. А мне они казались зелеными. Когда я выбрала зеленые глаза и присовокупила докторскую степень в точных науках, остались только 4 донора. На одном из них я остановилась после разговора с генетиком в Нью-Йорке.

Вот уже и утро начинается. Сегодня воскресенье. 30 апреля. Это особенный день. Для этого дня у меня два специальных бокала. Но это на вечер. Вечером я буду слушать «Богему» Пуччини, закурю сигару, привезенную мной из Дублина, и выпью самого лучшего шампанского. В перерыве между первым и вторым актами.

Из твоего бокала тоже выпью. Всего самого прекрасного тебе в день твоего рождения,

Элджот...

Дженнифер

P.S. Когда рожу дочку, дам ей имя Лора Джейн.

ОНА: Подъезжали к Франкфурту-на-Одере. Она взяла бутылку минералки и взглянула на него. Включенный ноутбук лежал у него на коленях, а сам он сидел, прижав правую руку к сердцу, и всматривался в окно. У нее тоже иногда бывало, что, глубоко задумавшись над чем-то, она сидела с отсутствующим взглядом. Веки не опускаются, зрачки расширены и совершенно неподвижны. Устремлены в одну точку. Как сейчас у него. Но в этом было что-то неестественное. И рука на сердце, и застывший взгляд. На его лице отражалась печаль. Почти что боль.

Дверь открылась. В купе заглянул старик и принялся громко читать номера мест. Он обратился по-немецки к сидящему:

– У вас на это место билет?

Тот не реагировал. Старик повторил вопрос, и когда тот опять не отреагировал, решился дотронуться до его плеча.

– Простите, у вас тоже билет на это место?

Сидящий выглядел так, будто его внезапно разбудили.

Он тут же встал, освободив место старику.

– Нет. У меня нет билета на это место. У меня вообще нет билета. Можете быть спокойны, это ваше место.

Он выключил ноутбук и положил его в кожаную сумку. Осторожно, чтобы никого не задеть, снял свой чемодан. Вывез его в коридор. Сумку повесил себе на плечо. Снял с вешалки пиджак и перебросил его через сумку с ноутбуком. Овернул к сидящим в купе и грустно взглянул на нее. Попрощался со всеми по-польски и по-немецки и вышел. Больше она его не видела.

@2

ОН: *Жизнь по преимуществу печальна. А сразу потом умираешь.*

До Института генетики Фонда имени Макса Планка легче всего доехать по шестиполосной автостраде, проходящей возле современного здания, в котором находится его кабинет. Это одна из самых загруженных автострад в Мюнхене. Дальше она идет напрямик в центр города, а тут, где находится его институт, отделяет окруженную высоким забором торговую территорию от остального города. Метрах в ста от института, ближе к городу, над автострадой проходит виадук. Одна из опор виадука находится на зеленой полосе, разделяющей автостраду. По немецким правилам у его мотороллера слишком маленькая скорость, чтобы на нем можно было ездить по автостраде, поэтому он по виадуку едет сперва до торговых участков, а оттуда по нормальным улицам до самого дома.

Вчера он вышел из института около одиннадцати вечера. Вообще-то он собирался ехать не на мотороллере, а в метро. Январь в Мюнхене очень холодный, и в свете фонарей на тротуарах искрился ледок. А мотороллер на льду непредсказуем. Он узнал это еще прошлой зимой, когда после падения на замерзшей луже три дня провел с коленом в гипсе. Но стоило ему подумать, что придется четверть часа идти до станции метро, а потом ждать поезда, может, даже все полчаса, он тут же решил, что сегодня еще поедет на мотороллере, «но это уже в последний раз».

Возле средней опоры на левой полосе как раз напротив въезда на виадук лежал на крыше разбитый всмятку и полностью сгоревший автомобиль. На тротуаре по другую сторону автострады по кругу бегала молодая женщина в шубе, толкая перед собой детскую коляску, и что-то отчаянно кричала на непонятном языке. Когда она повернулась к нему, он увидел, что под шубой она совершенно голая. У поребрика стоял, мигая аварийными огнями, серебристый «Мерседес» с настежь распахнутыми дверцами. Толстый лысый мужчина,

стоящий около «Мерседеса», с неподдельной яростью пинал его и что-то кричал в сотовый телефон.

Под виадуком было полно дыма, из багажника разбитой машины еще вырывались язычки огня. Первым инстинктивным побуждением было – бежать. Но продолжалось это какие-то доли секунды. Он остался. Поставил мотороллер на тротуаре у стены. Убедился, что никто не едет, и медленно двинулся к опоре. Он еще не знал, что сделает. Он просто чувствовал, что должен туда пойти. Но он боялся. Страшно боялся. Глаза начали слезиться от дыма.

И вдруг стало светло, как днем. С торговой территории на огромной скорости выехал полицейский автомобиль. Кроме синей мигалки, включаемой в подобных случаях, на крыше полицейского «БМВ» горел мощный прожектор, направляя сноп света на разбившуюся машину. «БМВ» не успел еще остановиться, а из него уже выскочили четверо полицейских с огнетушителями. Через минуту останки автомобиля покрывал толстый слой белой пены. И тут же подъехала красная пожарная машина. Мощные струи воды из водометов на прицепе смыли пену. Когда вода стекла с мостовой, один из пожарных лег и заполз в перевернувшийся автомобиль. Уже через минуту он выполз, вскочил, отбежал к опоре, и его стало тошнить.

Он все это видел, стоя за опорой в нескольких метрах от разбитой машины. А потом какой-то человек в черной кожаной куртке схватил его под руку, бегом отвел на другую сторону автостреды недалеко от серебристого «Мерседеса».

Женщина в шубе все так же ходила по кругу и что-то говорила самой себе. Ребенок в коляске заходился от плача. Дверцы «Мерседеса» были закрыты. Лысый толстяк с сотовым телефоном исчез.

Какой-то миг ему казалось, что все это неправда. Что он случайно оказался на съемках триллера и что через минуту услышит, что объявляется перерыв, а потом будет сниматься еще один дубль. Но это был не фильм. Такое могло случиться только в жизни.

Девушка из Румынии – все это ему рассказал полицейский в черной куртке, который позже записывал его показания в полицейском «БМВ», – проститутка. Ей восемнадцать лет. Чтобы подработать на стороне, она иногда сбегает со своего постоянного места в центре Мюнхена и приходит сюда под виадук. Тут очень хорошее место. Исключительно удачное. Особенно когда в Мюнхене происходит какая-нибудь ярмарка. Всегда можно дополнительно заработать. Девушка стоит на краю тротуара и, когда приближается машина, распахивает шубу, под которой на ней ничего нет. Минет за сорок марок, рукой – тридцать и нормально за шестьдесят. Без презерватива цена утраивается зимой и удваивается летом. Шубу, одну на четырех девушек, они взяли напрокат в театре.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.